

Метрополии культуры / провинции опыта

Илья Калинин

Метрополии культуры / провинции опыта

DOI: 10.53953/08696365_2025_192_2_15

Ilya Kalinin

Metropolises of Culture / Provinces of Experience

Описания общества и культуры в последние десятилетия переживаю очередную реактуализацию характерного способа структурирования своего поля через линии напряжений и неравенств, прочерченные между центром и периферией, метрополией и провинцией, империей и колонией, каноном и дискурсивной окраиной. При этом неуклонно расширяется и область обнажения этих напряжений. Через эту иерархическую топику описывают уже не только географические, политические, экономические распределения власти, обращенные к расе, нации, классу или гендеру, но и все более дробные, разнообразные и подвижные групповые идентичности, а также формы их культурной артикуляции (нарративы и риторические комплексы, мемориальные традиции и жизненные стили, этические ориентиры и эстетические вкусы).

Ареал распространения этих модусов описания покрывает и бывшие империи, и бывшие колонии. Векторы их распространения имели встречный характер, взаимно усиливая друг друга. Критическая рефлексия имперского центра с середины XIX века была сосредоточена на классе и экономических универсалиях колониализма. Политическая борьба колоний, не отказываясь от этого уже существующего аналитического инструментария, с середины прошлого века стала двигаться к новому типу критики, сфокусировавшемуся на символических формах угнетения (условная линия от Эме Сезера и Франца Фанона к Эдварду Сайду). Дальнейшая работа в этом направлении, институционально сосредоточенная вокруг *subaltern* и *post-colonial studies*, в той или иной степени скрещивала нео- и постмарксизм с психоанализом, фукольдианской критикой дискурса и различными версиями постструктураллистской деконструкции, позволявшими обнаруживать неотрефлексированные и не-

проработанные дискурсивные симптомы империализма в самой марксистской теории.

Неравенство и различные формы угнетения, являющиеся объектом этих исследовательских полей, пронизывали и модус их академического воспроизведения, контрагентами которого были выходцы с Востока или Глобального Юга и западные университеты; универсальные модели описания (рожденные в бывших центрах империй, успевших превратиться в метрополии культуры) и их оперативное использование для описания локальной специфики. Еще одним уровнем этого внутреннего напряжения является характерная осцилляция между академической активностью и общественно-политическим активизмом, которая обостряет и собственно теоретическое напряжение между марксистским ингредиентом этих исследований (которые можно упрекнуть в банализации и эссенциализации, но не в способности переходить в прямое и массовое политическое действие) и их постструктураллистской закваской, основанной на интересе к культурным различиям (которую нельзя упрекнуть в способности писать очень сложно об очень сложных вещах, равно как и в накоплении политической энергии, способной выплыть за пределы университетских кампусов).

Похожее напряжение характерно и для множества других исследовательских полей, изучающих другие проекции неравенства и являющихся интеллектуальной формой борьбы за признание различных депривированных групп. Здесь также присутствует опасность попадания в ловушку теоретического метаязыка, который одновременно и дает возможность быть презентированным, и лишает политической перспективы ею воспользоваться, погружая в изощренную рефлексию о природе самой презентации. Эссенциализм упрощает дело и объективирует, постструктураллистская чувствительность зачастую приводит к политической беспомощности, лишь выступая дискурсивным раздражителем активизма правого, консервативного или непосредственно фашистского толка.

Как кажется, этот хорошо знакомый разрыв между критической теорией и эманципаторной практикой может быть переведен на язык отношений между центром и периферией, в каком бы воплощении — политическом, социальном, экономическом, эпистемологическим — они не выступали. Или иначе, речь идет об отношениях между местами, где по-прежнему сосредоточены механизмы производства и распространения знания, и местами, откуда происходят те, кто пытается использовать эти механизмы для того, чтобы привлечь внимание к местам своего происхождения, — описать и преодолеть специфические формы угнетения, мотивированные теми или иными типами различий. Иными словами, изначальной движущей силой теоретических программ такого рода, не без успеха пытающихся поколебать интеллектуальную метрополию культуры (с ее политическими традициями, эстетическими канонами, социальными иерархиями, господствующими нарративами развития, привилегированными объектами изучения), был и продолжает быть «провинциальный» опыт тех, кто вовлечен в создание этих программ. Эта «провинциальность» в данном случае означает биографически пережитый и теоретически осознанный опыт принадлежности к любого рода окраинам и перифериям, низам и меньшинствам, колониям и гетто — опыт депривированности любого рода. Как только это напряжение между «метрополиями культуры» (теоретическими проектами критики, работающими с языками этих метрополий)

и «провинциями опыта» исчезает, эти проекты превращаются в конвенциональные дисциплины и профессиональные траектории, прописанные в университетских куррикулумах (образцовый пример — судьба британских cultural studies 1960—1970-х, давших интеллектуально богатый, но политически почти бесплодный урожай на благодатном черноземе американских кампусов 1990—2000-х).

Представленный блок обращается к теоретическим направлениям, различным по своему происхождению, месту и времени действия. Однако возникающие на последующих страницах фигуры, вовлеченные в становление этих научных школ, не только сделали отношения центр — периферия предметом своего описания и ядром своего теоретизирования, но и очевидным образом рефлексировали собственное место на этой карте. Речь идет о петроградском/ленинградском ОПОЯЗе, британских cultural studies и тартуской семиотике культуры. Виктор Шкловский, Юрий Тынянов, Борис Эйхенбаум, Реймонд Уильямс, Стюарт Холл, Юрий Лотман сумели превратить собственный опыт «провинциальности» (расовой, этнической, политической, географической, институциональной) в ресурс теоретической концептуализации динамики культуры, извлечь из этого опыта энергию, необходимую для ее практической перестройки. Чего не скажешь о российской культурной журналистике 2010-х годов (один из предметов статьи Николая Вокуева), которая, напротив, исходила из ощущения собственного культурного превосходства над «культурно провинциальным» Российским государством и поддерживающей его частью общества. Демонстрация этого культурного доминирования в итоге и стала одной из форм политического самообезвреживания протестного потенциала, проявившегося в 2011—2012 годы, — чему с нескрываемым энтузиазмом подыгрывало то самое «некультурное» Российское государство, великолепно поддерживая создание всевозможных креативных зон и кластеров, культурных фестивалей и книжных ярмарок, музеев современного искусства и экспериментальных театральных площадок.

Еще недавно могло казаться, что борьба с неравенством и угнетением все больше смещается в область культурных различий, что ее объектом все больше становится символическое, а не физическое насилие, что ее методом все больше становится деконструкция порядков дискурса и институциональных диспозитивов, а не прямое отстаивание своего права на жизнь. Последние годы показывают, что это не так. И речь далеко не только о наиболее болезненных для русскоязычной аудитории событиях. Правый популизм в Европе, ставший ответом на миграционные потоки и экономическую стагнацию. Трампистский реваншизм «здравого смысла» как радикальный ответ на внутриполитический леволиберальный wokeism и внешнюю политику, в которой ценностная мотивация оставалась не менее значимым аргументом, нежели чистый материальный интерес (даже в случае военной агрессии). Непримиримый антагонизм двух этнорелигиозных фундаментализмов на Ближнем Востоке. Многое из того, что происходит в Африке и Латинской Америке, Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии. Вспомнив сталинский тезис об «усилении классовой борьбы по мере продвижения к социализму» (который больше говорил о стремлении оправдать репрессии, а не о продвижении к социализму), можно сказать, что повсеместное усиление борьбы с различиями свидетельствует не столько о продвижении к глобальному демократическому миру, сколько о глубоком кризисе самого этого мира. Все это делает оценки

тех или иных конкретных процессов (например, тех, олицетворением которых является для многих нынешняя Россия), как направленных «против современности», идущих «наперекор современному миру», излишне оптимистичными. Если только не понимать под «современностью» набор принадлежащих определенной эпохе нормативных критериев, а не вектор исторического движения.

Все это во многом возвращает понятиям «империя»/«колония» (зона влияния и контроля) их актуальный, когда-то непосредственный политический смысл, который со второй половины прошлого века все больше культурализировался, становясь постепенно уходящим в прошлое горизонтом — концептуальной метафорой, задающей описательные координаты центр/периферия. Прямое политическое и физическое насилие переместилось из сферы отношений между империями и колониями в сферу национальных государств, стремящихся к гомогенизации своего населения. Злая историческая ирония состоит в том, что в качестве наилучшего цивилизационного ответа на возобновившуюся ныне имперскую угрозу вновь предъявляется национальное государство. Если мы имеем дело с историческим повторением, то оно явно не является диалектическим, не поддаваясь описанию в терминах фарса. Происходящее больше укладывается в логику травмы с ее навязчивым повторением, не позволяющим снять предшествующее состояние в превращенной форме рефлексии и в воображении будущего как качественно иного.

Возможно, в преодолении этих повторов смогут помочь представленные в этом блоке «провинциалы», которые сумели не только теоретически переписать метрополии культуры, но и конвертировать свой опыт в практическую попытку их переучреждения. Надежда остается: «Пока живы растаманы из глубинки — Вавилону будет не устоять» (вспомним, кстати, что Стюарт Холл был родом с Ямайки).